

# Портрет моей матери

*Нехай маты усмехнёўся,  
Заплакана маты.*

Шевченко

Она подымается на пятый этаж,  
Мелкая старушка с горькими слезами.  
Лестница та же, и дверь всё та ж...  
Но как волнуется! Точно экзамен.  
Прыгают губы. Под сердцем нудит.  
За дверью глухо звучит пианино.  
С медной таблички бесстрастно глядит  
Чужая жизнь родного сына.

Здесь кухня в шутку зовётся «лог»,  
«Рыцарской залой» — столовая,  
Послеобеденный чай — фэйф-о-клок  
(Кто его знает, что за слово?).  
И всё это комнатное аргю  
Полно игнорирующего уютя.  
Она себя чувствует здесь каргой,  
Севшей на шкаф и взирающей люто.

Но наконец нажимает звонок.  
Его холодок остаётся на пальцах.  
Слушает... Вот! Это стук его ног.  
Да-да. Это он. Её мальчик.  
В последний раз поправляет платок...  
На лестницу бурно вырвался Штраус.  
Я ей улыбаюсь, снимаю пальто,  
Чмокаю в щёку. Стараюсь.  
Она так мизерна. Может быть, я  
Слишком басю? Я дьявольски кроток.  
Это лучшие миги её бытия,  
Она на минуту чувствует отдых.  
И вместе с убогой лысой лисой  
С души стекают ледовые оползни.  
Её вековечное лицо  
Опять становится симферопольским.

И слушаю этот милый слог,  
И крымский пейзаж оживает снова...  
Как в зимнем сене сухой василёк,  
В речи попадает татарское слово.  
Но вдруг исчезают «сенап» и «шашла»,  
Лицо старушки сведено драмой:  
Слышится внучкин голос: «Мама!  
Чёрненькая бабушка пришла».

И входит жена, и зовёт пить чай.  
И мы неестественно выходим из комнаты.  
Старушка идёт, как сама печаль,  
А мы с женой, как виновные в чём-то...  
И к «чёрненькой бабушке» из-за стола  
Розовая тёща встаёт и кланяется,  
Падчерица вскакивает, как стрела,  
Вспрыгивает жена на племянница.  
И каждый считает, что он не прав.  
И все выстраиваются по линии,  
Как будто в воздухе летят Эринии,  
Богини материнских прав.  
Но гранд-парада почётный строй  
Старушка встречает горькой усмешкой:  
Она себя чувствует здесь турой,  
Стигнутой королевой и пешками.  
Корни обиды глубоко вросли.  
Сыновий лик осквернён отныне,  
Как иудейский Иерусалим,  
Ставший вдруг христианской святыней.

А что ей почёт? Это так... По годам.  
От победителей нет признанья.  
Она лишь попавшая к господам  
Ихнего сына старая няня...  
И дымная трудовая рука  
В когтях и мозолях — рука вороны —  
Делает к сахару два рывка  
И вдруг становится как бы варёной,  
Как пронзённой миллионами глаз...  
И так ей муторно, как от болести,  
Точно рука у неё зажглась  
Огненной казнью на Лобном месте.  
И всё молчит. То ли тема узка,  
То ли напротив: миф для трагедии.  
Берёт она два небольших куска,  
Хотя ей очень хочется третий.  
И я с раздраженьем хватаю ещё  
И, улыбаясь, кладу в её чашку.  
«К чему?» Она поднимает плечо —  
И всем становится тяжело.  
Потом жена её снова зовёт,  
Уложит, укроет оленьей шубой.  
И снится ей, что она живёт  
Вместе с сыном в таврической глубине;

Что нет у него ни жены, ни детей.  
Она в чулке бережёт его тыщи...  
К чему? Зачем? Неизвестно и ей.  
Просто так. Для духовной пищи.

Потом очнётся, как от вина,  
Вздохнёт, отлежится и скажет сторожко:  
«Дал бы, сынок, сахарку старушке,  
Но только пускай не знает *она*».

И я, подмигнув, забираюсь в «лог»  
И зазываю жену из «зала»:  
«Дай-ка, рыжик, для мамы кулёк,  
Но так, чтобы ты, понимаешь, не знала!»

И мать уходит. Держась за карниз,  
Бережно ставя ноги друг к дружке,  
Шажок за шажком ковыляет вниз,  
Вся деревяненькая, как игрушка,  
Кутая сахар в заштопанный плед,  
Вся истекая убогою ранкой,  
Прокуренный чадом кухонных лет,  
Старый, изуродованный жизнью ангел.  
И мать уходит. И мгла клубится.  
От верхней лампочки дома темно.  
Как чёрная совесть отцеубийцы,  
Гигантская тень восстала за мной.

А мать уходит. Горбатым жуком  
В страшную пропасть этажной громады,  
Как в прах. Как в гроб. Шажок за шажком.  
Моя дорогая. Заплакана маты...

*Ледокол «Челюскин», мыс Рыркарпий, 1933*

## Весеннее

Весною телеграфные столбы  
Припоминают, что они — деревья.  
Весною даже общества столпы  
Низринулись бы в скифские кочевья.

Скворечница пока ещё пуста,  
Но воробышки спорят о продаже,  
Дома чего-то ждут, как поезда,  
А женщины похожи на пейзажи.

И ветерок, томительно знобя,  
Несёт тебе надежды ниоткуда.  
Весенним днём от самого себя  
Ты, сам не зная, ожидаешь чуда.

1961

## Гимн женщине

Каждый день как с бою добыт.  
Кто из нас не рыдал в ладони?  
И кого не гонял следопыт  
В тюрьме ли, в быту, фельетоне?  
Но ни хищность, ни зависть, ни месть  
Не сумели мне петлю сплести,  
Оттого что на свете есть  
Женщина.

У мужчины рука — рычаг,  
Жернова, а не зубы в мужчинах,  
Коромысло в его плечах,  
Чудо-мысли в его морщинах.  
А у женщины плечи — женщина,  
А у женщины локоть — женщина,  
А у женщины речи — женщина,  
А у женщины хохот — женщина...

И, томясь о венерах Буше,  
О пленительных ведьмах Ропса,  
То по звёздам гадал я в душе,  
То под дверью бесёнком скрёбся.  
На метле или в пене морей,  
Всех чудес на свете милей,  
Ты — убежище муки моей,  
Женщина!

## Был я однажды счастливым...

Был я однажды счастливым:  
Газеты меня возносили.  
Звон с золотым отливом  
Плыл обо мне по России.

Так это длилось и длилось,  
Я шёл в сиянье регалий...  
Но счастье моё взмолилось:  
«О, хоть бы меня обругали!»

И вот уже смерчи вьются  
Вслед за девятым валом,  
И всё ж не хотел я вернуться  
К славе, обложенной салом.

1963